

Яновский, О. А. «Апантаны» интеллигент: профессор Фернан Бокур на историческом факультете БГУ (некоторые штрихи к портрету в воспоминаниях декана) / О. А. Яновский // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны: навук. зб. Вып. 5 / Рэдкал. У. Н. Сідарцоў (адк. рэд.), С.М. Ходзін (нам.адк. рэд.) [і інш.] – Мн: БГУ, 2009. – С. 121–128.

О. А. ЯНОВСКИЙ

**«АПАНТАНЫ» ИНТЕЛЛИГЕНТ: ПРОФЕССОР ФЕРНАН БОКУР НА
ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ БГУ
(некоторые штрихи к портрету в воспоминаниях декана)**

Ко времени встреч с Ф. Бокуром в условиях развернувшейся перестройки в стране мне пришлось с головой окунуться в административную работу, обусловившую расширение круга знакомств и поддержание контактов с теми, в среде которых только и возможен рост профессионализма историка-исследователя. Именно благодаря деканскому креслу мне и посчастливилось познакомиться и на протяжении почти десяти лет поддерживать теплые и плодотворные отношения с профессором из Франции Фернаном Бокуром.

В канун знакомства. Я всегда весьма неуютно себя чувствую в общении с иностранцами: мои познания в языках ограничиваются умением использовать словари — испанские, немецкие, польские, латинские и даже иные — при необходимости продемонстрировать жалкие результаты своих школьно-университетских многолетних лингвистических «штудий». А вот даже языка простого общения с иностранными коллегами эти годы не выработали. Не было вначале такой необходимости, а потом административная «текучка» стала отнимать все время. Да и сам как-то ленился, хотя к *mi soqazon* — испанскому языку — время от времени возвращался, чтобы проверить звучание столь милой речи в своем отображении или, что более всего, в музыкальных записях самих носителей этого чудесного языка.

Одним словом, когда доцент соседней с деканским кабинетом кафедры (сейчас она называется кафедрой источниковедения) Кузьма

121

Иванович Казак попросил найти время для встречи с французским ученым, которого он «курировал» во время пребывания в Минске, я с опаской отнесся к этому. *Во-первых*, сложно было предположить, что встреча будет не просто «для приличия», как обмен мало значимыми любезностями, а деловой, с конкретной пользой для факультета. Мне давно уже приходилось подходить к подобным встречам именно с деловой точки зрения: времени всегда было в обрез и тратить его на всех я просто физически не мог, хотя стремился никого не обидеть (я принципиально не понимал и не понимаю, когда руководитель факультета свое общение с представителями коллектива выстраивает по схеме приемных дней и часов). Поэтому в моем сознании сразу же определилась схема — несколько минут ни к чему не обязывающего разговора, традиционные «кофе-чай» и быстрое расставание с поклонниками и столь же ни к чему не обязывающими заверениями о продолжении знакомства. К этой виртуальной схеме подталкивало, *во-вторых*, и то, что я слабо представлял себе не только возможный предмет нашей беседы, но и то, как вообще она могла состояться при моем-то «знании» французского (как и английского: я не сомневался, что профессор из Парижа владеет им). Надежды на Кузьму Ивановича я не питал, так как был наслышан о его неплохом немецком, но в отношении владения французским информацией не располагал. И не предпринял соответствующих действий для обеспечения встречи переводчиком: она для меня не представляла особого интереса, а посему языковые преграды должны были сократить ее до минимума. *В-третьих*, Кузьма Иванович мельком сказал, что француз слывет за чуть ли не самого-самого знатока эпохи Наполеона и воспринимает собеседников с учетом их компетентности в событиях тех лет. А так как я на то время, казалось бы, бесповоротно «погряз» в российско-белорусском XVI в. и слегка стал осваивать логику и события XX в., а рубеж XVIII—XIX вв. всегда мне был не особо интересен, то встреча и вовсе не могла вызвать восторга.

Большинство воспринимает декана исторического факультета как знатока всего и вся, как олицетворение всех научных составляющих (я не раз убеждался в этом, беседуя и с коллегами, и, в особенности, с теми, кого сложно отнести к историкам, но кто историка воспринимает в абсолюте исторических познаний). Конечно, ко второй половине 1990-х гг. я успел усвоить неперемutable правило руководителя истфака — стремись хотя бы к поверхностному освоению всех тех научных областей,

122

которые разрабатываются твоими подчиненными и коллегами, по крайней мере будь в курсе основополагающих концептуальных научных задач и результатов проводимых ими исследований. Но это идеальное, а посему недостижимое качественное состояние руководителя. Я от него был ой как далек. Вот в таком административно-творческом состоянии и произошла моя первая встреча с Фернаном Бокуром,

которая, как показали последующие события, во многом заставила меня пересмотреть и переоценить свои творческие планы и интересы. Заставила иначе относиться к миру историков, более резко разграничив его на тех, кто работает на науку, будучи устремленным, «апантаным», и тех, кто имитирует работу и активность, живет и работает по чьим-то схемам и предписаниям. А тем более конъюнктурен в своем творчестве.

Встречи с корифеем. В просторный, но старомодный кабинет декана исторического факультета БГУ стремительно вошел весьма пожилой и грузный человек в повывавшем виды клетчатом твидовом пиджаке с неизменным интеллигентским атрибутом (по советским представлениям) — галстуком. Сразу стало как-то все объемнее и просторней: вошедший как бы принес с собой ауру света, уверенности, дружелюбия. За ним, как всегда широко улыбаясь, но с неизменной особенностью улыбки — «я сам себе на уме» — тихо прошмыгнул Кузьма Иванович и с ходу представил: «Олег Антонович, это наш гость — французский профессор Фернан Бокур, о встрече с которым вы вчера дали согласие». Я не успел опомниться от первого впечатления и выстроить в уме манеру своего поведения (а она, как правило, экспромтом формировалась в зависимости от восприятия собеседника), как Бокур буквально в два шага резко подошел к столу, из-за которого я только-только вставал навстречу ему. И, протянув руку для приветствия, тут же тепло обнял меня, что стало легким шоком: я не привык в силу своего характера и воспитанной советской манерности вот так сразу заключать незнакомого человека в объятия. Но шок быстро прошел, так как возникло ощущение, что мы уже давно знакомы и не раз подобным образом символизировали встречи. Бокур, не выпуская меня, стал что-то быстренько по-французски говорить, а Кузьма Иванович, стоя еще чуть ли не в дверях кабинета и по-прежнему улыбаясь, как бы от себя, но в третьем лице, разразился тирадой, что профессор донельзя польщен встречей с господином деканом, высказывает ему тысячу благодарностей за прием и хотел бы обсудить вопросы сотрудничества в области исследований по наполеоновской тематике. Я несколько опешил от напора француза, от «гос-

подина декана» коллеги (ведь сразу и не понял, что это был перевод, а не обращение ко мне со стороны Кузьмы Ивановича), от так быстро разваливавшегося наспех продуманного формата встречи.

Внесенные секретарем Инной в кабинет кофе с печеньем (эти неизменные атрибуты деканского рабочего быта всегда были в запасе) позволили мне взять встречу под свой контроль. Приглашение сесть в мягкое кресло или на просторный диван было принято без перевода. И мощное тело профессора как-то привычно вписалось в интерьер зоны отдыха и официальных встреч кабинета: диван, который и избрал Бокур, картина, висящая над ним, переполненный книгами шкаф, накрытый секретарем журнальный столик. Было впечатление, что Фернану Бокуру все здесь давно знакомо, ему уютно и он готов сколь угодно долго вести беседу. Это первое впечатление оказалось верным.

Сколько еще раз затем вот так, за кофе или чаем мы встречались, сидя рядом на диване или напротив друг друга. Но непременно Бокур восседал на диване, а я пододвигал к столику небольшое кресло. И всегда инициатива в разговоре была в руках профессора. Говорил он быстро, долго, увлеченно, демонстрируя при этом, как правило, свои тетрадки или блокноты, сплошь исписанные бисерным аккуратным почерком, когда на странице не оставалось даже клочка чистого пространства. И чуть ли не каждое его устное или зафиксированное на бумаге слово вращалось вокруг имени и деяний столь любимого Бокуром Наполеона, его полководцев, соратников или противников, мест баталий и т. д. Никогда до и после я не встречал таких людей, обуреваемых «одной, но пламенной страстью», творческим увлечением как смыслом жизни.

Будучи глубоким исследователем, Бокур одновременно оставался по-детски увлеченным и азартным, мог восторгаться по поводу нахождения даже мельчайшей информации, проливающей что-то новое на предмет его научных интересов. Он был великим охотником за фактами эпохи Наполеона. И ничто не могло его остановить, если даже за далекими горизонтами вдруг забрезжила еще никому не известная информация, а тем более вещественный раритет. Теперь в моду вошло словечко «креативный». Если бы в моем лексиконе оно находилось в годы общения с Бокуром, то, как теперь представляется, я бы мог им иногда подменять наше белорусское сочное слово-определение «апантаны», которое я всякий раз про себя произносил во время общения с ним: эта метафора более всего, по моему мнению, характеризует натуру Бокура.

Уже после нескольких встреч с профессором, следовавших за первой, я даже стал ловить себя на мысли, что факультет без него как бы и не может обойтись. Его поездки в Минск, в Беларусь всякий раз одним из маршрутов имели кафедры и аудитории истфака БГУ. Бокур стал неизменным участником наших научных конференций и различных «круглых столов», запросто стал узнаваем на многих кафедрах, принял предложение читать маленькие циклы лекций для групп специализации по новой и российской истории, побуждал нас не быть в стороне от хотя бы пассивного участия в его многочисленных проектах, реализуемых на белорусской земле в связи с увековечиванием событий 1812 г. Бокур столь часто навещался на факультет, что далеко не всегда была необходимость для встреч в деканском кабинете.

Слегка сутуловатая фигура француза со временем стала достаточно привычной в факультетском сообществе. Как-то я в шутку сказал, что его следует номинировать почетным званием профессора БГУ.

Бокур принял мои слова вполне серьезно и еще более усилил свою активность на поприще тех дел, которые могли бы быть полезны факультету: видимо, чтобы в полной мере, как он считал, соответствовать этому званию. К сожалению, в нашем университете и до сего времени еще не установились четкие, всеми осознаваемые критерии для номинации в таком звании.

Следует сказать, что уже с первой встречи между нами почти не существовало языковых проблем: профессор вполне понимал мою речь, если я говорил без излишней витиеватости и не быстро, а мне всегда ассистировал Кузьма Иванович (в знании французского он, как оказалось, вполне преуспел) или преподаватель французского языка, работавшая на истфаке, Татьяна Ивановна Качуро. Изредка — мой брат Валерий. Как-то на исходе моей деканской карьеры, когда вот-вот должно было нагреть новое тысячелетие, в один из своих приездов в Минск Бокур явился на факультет в необычайно приподнятом настроении.

Открытие нового источника. Была весна 1998 г. Как всегда факультет в это время бурлил накануне защит курсовых работ, сессии, получения дипломов, каникул и в предчувствии летнего расслабления. Для декана, как и преподавателей, это время работы на измор: не знаешь, за что следует браться, чтобы успеть сделать все, что требуют планы, графики, предписания, начальство, студенты. И тут еще Бокур со своим неподдельно радостным выражением лица, что предполагало долгий разговор, выслушивание его непременно до конца. А это часа эдак

три-четыре. Отказать же, не выслушав его и не разделив с ним радость по случаю чего-то необычного, происшедшего в его жизни, а скорее всего — в области научных изысканий, было бы проявлением величайшего неуважения и попранием установившихся дружеских отношений.

Чего уж там. Сажусь в свое гостевое кресло. Усаживается привычно на диван и Бокур. Для затравки разговора — кофе мне и чай гостю. Пошла беседа на отвлеченные темы: здоровье, успехи на ниве образования молодежи и т. д. Но буквально через несколько минут профессор отодвигает недопитую чашку чая, берет в руки свой повидавший виды, потертый донельзя кожаный портфель, открывает застёжки и начинает нарочито медленно вытаскивать из глубин кожаной сокровищницы пакет с множеством аккуратных листков писчей бумаги. И что-то усердно проговаривает, как будто я понимаю о чем идет речь. Даже Кузьма Иванович потерял бдительность, увлекшись большой чашкой деканского кофе в сопровождении шоколадных конфет и изысканного печенья. Перевод бокуровских восторгов явно запаздывал. Пришлось попросить «штатного» переводчика отвлечься от яств и вникнуть в суть происходящего. И уже вскоре мы оба были вовлечены профессором в познание нюансов великой архивной находки. Как я уже отмечал, общение с неординарными людьми для меня всегда было побудительным мотивом хотя бы отчасти постичь предмет их увлеченности, манеру мышления, жизненные установки. Бокур в этом отношении с первых минут нашего знакомства стал чуть ли не образцовым примером для такого восприятия собеседника. Его увлеченность эпохой Наполеона заставила и меня поглубже разобраться в сюжетах и фактах не только предыстории и истории российского 1812 г., но и всей европейской истории от начала Великой французской революции до Венского конгресса. Так что я был готов вникать в сущностную сторону восторгов знатока наполеоновской эпопеи.

Правда, даже непосвященный смог бы быстро разобраться, насколько значимой была находка Бокура. Нам же с Кузьмой Ивановичем несколько часов пришлось постигать маршруты польских легионов армии Наполеона, победные реляции его генералов по случаю одержанных викторий, разбирать хитросплетения тогдашней дипломатии враждующих сторон и др. Бокур был неудержим, когда случался повод довести до слушателя что-то из той эпохи. Порой казалось, что там он жил ранее и продолжал жить ею, этой эпохой, даже находясь на излете XX в.

Но длинный рассказ обо всем оказался только вводной частью к представлению рукописи, извлеченной из портфеля. На многих десятках страниц убористым бокуровским почерком был переписан план победоносного (как полагалось автором плана) вторжения французских войск в Россию, представленный польским генералом Михалом Сокольниковым императору Наполеону в феврале 1812 г. Эту рукопись Бокур отыскал в парижском архиве Исторической службы сухопутных войск Франции. И «от корки до корки» скрупулезно, как мог делать только он, переписал (не ксерокопировал и не сканировал, а именно переписал!) на простые листы бумаги. Уже позже я разобрался, что эти «пропозиции» поляка в историографии были известны, хотя никто из историков (даже удивительно — и столь дотошных в отношении своей истории польских исследователей) глубоко не изучил и не опубликовал за истекшие почти 200 лет. Так что архивная находка Бокура — настоящий раритет, таивший многое досель неизвестное из, казалось бы, донельзя изученной наполеоновской эпохи.

Об этом Бокур увлеченно говорил и говорил, а мы с Казаком только кивали головами, соглашаясь со всеми эпитетами собеседника. Стал близиться вечер, конца рассказа не было видно. И я не стремился его приблизить. Ведь в его канву как-то натурально стала вплетаться информация, прямо относящаяся к

белорусской истории. Оказалось, со слов говорившего, что польский генерал был одним из наиболее информированных в географии, климатических особенностях, истории белорусских территорий. С моей стороны, в большей степени из вежливости, последовали уточняющие вопросы, которые естественным образом еще более раззадорили рассказчика. Оказалось, что профессор не только переписал архивный документ, но уже успел самым тщательным образом его изучить и даже исследовать. Была восстановлена историческая подоплека генеральских диспозиций, штрихи биографии наполеоновского советчика, даже возможные военно-стратегические последствия в случае исполнения французским императором предписаний и рекомендаций поляка.

Одним словом, наш вечер был длинным и интересным. Наконец гость стал собираться, аккуратно укладывая рукопись в свой портфель и одновременно, как обычно, что-то помечая в своей сплошь исписанной тетрадке-дневнике. А я, взяв инициативу на себя, стал систематизировать мои эмоции по случаю услышанного и обмолвился, что такой документ — ценное подспорье для белорусских исследователей исто

рии XIX века. И тут Бокур, без всякого перевода поняв мои сентенции, будучи уже одетым и готовым раствориться в вечернем Минске, резко расстегивает свой портфель, вынимает из него папку с архивной рукописью и протягивает ее мне, что-то быстро говоря на своем родном. Я не понял, как и Кузьма Иванович, в чем суть столь резко изменившегося поведения нашего гостя. Конечно, Кузьма Иванович первым разобрался в происходящем и с дрожью в голосе стал переводить совсем для меня необычный спитч Бокура. От него я опешил — профессор вот так запросто намеревался вручить свою находку мне для ее научной обработки на предмет издания в Беларуси. До меня дошло: мои восторги столь растрогали мэтра, что он решил поделиться своей славой первооткрывателя со мной. Наверно, у него возникло представление, что мои многочисленные вопросы по сюжету и фактам записок М. Сокольницкого, а также событиям 1812 г. вытекали из моей «глубокой» научной компетентности и патриотической заинтересованности осчастливить своих белорусских коллег ценными сведениями, содержащимися в вязи бокуровско-сокольницких строк. А раз так, то я сразу в глазах профессора стал подниматься к уровню его миропонимания и научных интересов. А раз так, то мне было ничего не жалко! Бери сокровенное, дерзай во благо науки «наполеоноведения» и умножай число ее приверженцев и знатоков!

О том, чего стоил белорусскому историку дружеский жест французского коллеги — сюжет для отдельного рассказа.

